

Сергей Волконский

# Странствия



Мои воспоминания

Сергей Волконский

**Странствия**

«Public Domain»

1923

**Волконский С. М.**

Странствия / С. М. Волконский — «Public Domain»,  
1923 — (Мои воспоминания)

«Странствия! Чувствуете ли, как в этом слове есть что-то внутренне необходимое? Это не выдумка человека, это в природе вещей. «Охота к перемене мест» не «весьма мучительное свойство». Это весьма естественное свойство. Перенесение своего «я», распространение своей пространственности – все живое к этому стремится. Животные завидуют птицам, а растения завидуют животным...»

© Волконский С. М., 1923

© Public Domain, 1923

# Содержание

Глава 1	7
Глава 2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

## Сергей Волконский

### Странствия

Странствия! Чувствуете ли, как в этом слове есть что-то внутренне необходимое? Это не выдумка человека, это в природе вещей. «Охота к перемене мест» не «весьма мучительное свойство». Это весьма естественное свойство. Перенесение своего «я», распространение своей пространственности – все живое к этому стремится. Животные завидуют птицам, а растения завидуют животным. Пригвожденное к земле, растение из единого стебля развивается в ветви, в листья, в цветы. Не будучи в состоянии сдвинуться сам, цветок ждет посещения крылатого насекомого и, в то время как оно язвит его сердцевину и выпивает его сок, обсыпает его своею пылью, чтобы неслось к другому цветку. Цветок умирает на том месте, где родился, но, умирая, теряя цвет и запах, из свежести цветения переходя в сухое семя, он раскрывает свою семенницу, дает ветру рассыпать свое содержание, снабжает зернышко чешуйчатым крылом, опушает его пухом и отдает ветру, «чтоб ветер унес его вдаль...».

Все живое стремится изведать пространство. Все живое движется и хочет передвигаться: идти, бежать, скакать, прыгать, ползать, летать. Все живое знает, что значит «вверх» и «вниз», «вперед» и «назад», «вправо» и «влево»; все знает, что значит скорость и медленность, сила и слабость, легкость и тяжесть. И все знает разницу между «откуда» и «куда».

Изменение пространственных условий – одна из радостей человеческих. Лестница, галерея, мост, качели – все это игрушки не одних детей, но и взрослого человечества. Тут есть победа над пространством и победа над силой тяготения, которая тешит нас победностью своей. Почему крыша, колокольня, дерево с раннего детства оказывают на нас такую притягательную силу? Мы любим над кручей повисшую беседку; мы любим в море уходящий мол, в пучине сидящий основанием своим и светящимся фонарем над ярыми брызгами смеющийся маяк. Мы любим насыпи, мы любим подземные ходы. Мы любим смотреть природу в зеркале, когда то, что налево, становится направо, и наоборот, и мы любим переворачивать бинокль другим концом, чтобы то, что маленькое, было еще меньше, и то, что далеко, было еще дальше. Да, мы любим играть пространством, и странствие есть одна из этих игр.

А способы передвижения! Это новая игра прибавляется к игре. Пешком, верхом, на колесах, на полозьях, по воде, по воздуху. И в каждом из способов сколько еще разнообразия! И ко всем этим победам над пространством прибавляется победа над временем: возможно больше первого, возможно меньше второго – вот к чему тянет человека ненасытность его. Вихри и потоки – вот что он хочет создать, вот кого хочет обогнать. Обогнать, оставить позади себя, и с наименьшей затратой собственной силы: наибольший покой в наибольшем волнении, наибольшая неподвижность в наибольшем движении, наибольшая безопасность в наибольшей опасности. Перед зеркальным окном ресторанного вагона сидеть, завтракать не торопясь, в то время как все кругом торопится, когда по сторонам «версты летят», – какое упоение в сочетании контрастов! Обмануть природу, ее же законом победить ее закон, – мчаться, вместо того чтобы стоять; лететь, вместо того чтобы падать; противопоставить горизонталь вертикали и вертикаль – горизонтали. Да, странствие есть одно из проявлений шаловливости человеческой.

Странствие есть память. Это прошлое в настоящем. Странствие, воспоминание о нем заселяет наши пустые мгновения; никакая пустыня не пуста, когда есть что вспомнить. А никакая память с такой свежестью не сохраняется, как память о странствии. Не изменяется, – и в этом самая ценность воспоминаний, – не меняется наше к нему отношение: мы вспоминаем то, что было, и вспоминаем с тем же чувством, как когда оно было. Всякое свое странствие человек с собой несет, в себе несет, потому что каждое меняет его, после каждого он уже не тот; каждое новое странствие есть новое богатство, и никогда к этому воспоминанию не примешивается сожаление.

Странствие – ответ на притягательную силу далеких призывов. Это жажда нового, иного. Ностальгия по другому. «Где же лучше? Где нас нет». Странствие – осуществимость мечты, утоляемость тоски.

И снится ей все, что в пустыне далекой,  
В том крае, где солнца восход,  
Одна и грустна, на утесе горячем  
Прекрасная пальма растет.

Если бы она могла сдвинуться, сосна бы двинулась туда – «в тот край, где солнца восход».

Но не всегда утоляется тоска; утоление распаляет жажду. Чем больше знаем, тем больше хочется знать; чем больше видим, тем больше хочется видеть. В достижении томимся по исканию, в наслаждении вздыхаем, и сама пресыщенность полна желания. Всегда зовет к себе обратное тому, чего достиг. И не одни сосны на голых вершинах грезят о пальмах в пустынях далеких, но и пальмы грезят о морозной пыли и о небесных заревах, лежащих на сталактиты обындевельных сосен...

Вот почему всегда странствовал и будет странствовать человек; вот почему, пока жив, топчет землю пятою своей до тех пор, пока, как Гораций, «устав от моря и путей», не опочьет под землей.

## Глава 1

Италия – Альпы – Italianские города – Флоренция – Italianская вилла – Карло Плачи

Переезжали ли вы когда-нибудь итальянскую границу? Если переезжали, то вы знаете этот трепет при приближении к заветному пределу; вам знакома эта глубина ощущений, воспоминаний, ожиданий, до краев, через край наполняющих ваше существо; вы испытали этот восторг, зажигающийся от всякого пустяка, – от первой итальянской надписи, от первого звука итальянской речи, от итальянских таможенных служителей, которые, растравляя нетерпение, тем сильнее поднимают трепет ожидания. И наконец – вход!

Грязный буфет, длинные «фиаски» с вином, зеленая горгонцолла и желтый стракино, скверный кофе в толстом фарфоре, твердый крученный хлеб, скверные длинные сигары с соломинкой. Да, и все это вызывает гимн в вашей душе.

Одни названия пограничные – разве не призывная труба? Понтэбба! Киассо! Беллинцона! Как врата света и тепла, встают они на холодных альпийских вершинах. Они зовут, и, дерзкими мостами пролетая над пропастями, проползая в черные норы туннелей, поезд вьется, стучит, дрожит, пыхтит, грохочет. Сквозь туман и облака прорезаются стрельчатые ели; сквозь грохот поезда слышны водопады, шум ручьев – борьба воды и камня. И вся вода – обратная, навстречу нам; мы в гору, а вода туда, откуда едем мы. Холодно, хмуро, сурово кругом...

Но вот мгновенная ночь главного большого туннеля. Вспоминаю, как в детстве мне говорили: «Открой рот и закрой глаза»... Вдруг во мраке проступают очертания каменных стен – близок выход. Все светлее становится; грохот реже; стены расступаются – мы выскочили в свет. Приветливо, мягко, жарко кругом. Ручьи-попутчики сбегают вперегонку с нами. Раскрыв все клапаны, без пару, на одном тормозе поезд катится в равнину. Скалистое полукружие развертывается все шире и дальше под лаской солнечных лучей. Поясами спускается растительность, своенравная в верхах, подчиненная в низинах. Вокруг нас крепкий дуб пригибается и корчится – ему не нравится на южной стороне. Высокий лавр гордится и приветствует – он дома здесь, на этих склонах; ползет и льнет к его стволу любовный плющ, вокруг пня прорезают землю светлый крокус и темная фиалка, с ветвей висит взобравшийся на него ползучий шиповник; вся южная цепкость лесная брызжет, колыхнется, цветет, благоухает.

Ниже нас далеко расстилается серебристое море дымчатой оливы, и, черные, стрельчатые, выскакивают из него кипарисы: как сторожевые линии, спускаются со склонов, зорко стоят над полдневно дремлющей равниной. А дальше, еще ниже, – разделанная природа: сетчатая картина полей, перерезанных водяными нитями каналов, перекрещивающимися рядами плодовых деревьев, висячими гирляндами с дерева на дерево переброшенного винограда, – работа людских поколений. Белые, ослепительно пыльные дороги расходятся, встречаются, теряются вдали. Там пыльный ослик в пыльном облаке везет запыленного мальчишку. Там серый бык, увязнувший в канаве, поднимает свои гордые рога и слюняво жующую морду. Кукурузовое поле шелестит сухими вислыми листьями... Вот сводчатый мост через реку; у моста, прикрывшись на знойных камнях, по обеим сторонам воды пестрая толпа женщин полощет, мылит и стирает белье. На минуту обдаёт нас крикливой трескотней голосов... Поезд пролетел... Но каждый день из года в год, из века в век на этом самом месте и в этот самый час стоит с берега на берег трескотня крикливых голосов; и ветер уносит их сплетни, как река уносит их грязное мыло...

Поезд мчится – ему весело. Ключья дыма, оторвавшись, стелются, входят в кукурузовое поле, льнут к плодовым деревьям, пропадают в светлом жаре ослепительного дня... Вот свисток. Радостен свисток, когда радостно место, к которому подъезжаешь. Уже давно внизу, в долине, виднелся купол, уже давно манила колокольня. Вот он наконец, вот первый итальянский город.

Я в первый раз приехал в Италию в 1872 году осенью. Мне было двенадцать лет; мы провели зиму во Флоренции. Моя мать, до шестнадцати лет жившая в Италии, знала итальянское искусство как редко кто. Под ее руководством я с этих ранних лет ощутил всю завлекающую прелесть итальянского прошлого. Но не одно прошлое сообщает Италии ее чары, а то, что это прошлое так сливается с настоящей действительностью. Неувядающая юность прошлого – вот в чем прелесть Италии. И тогда я это уже чувствовал так сильно и так больно... Когда мы уезжали из Флоренции, в карете, везшей нас на вокзал, не было места, меня посадили на козла, и я рад был, что таким образом я остался один, что меня никто из сидящих внутри не видит, ибо я заливался горькими слезами...

Впоследствии Италия стала для меня духовной потребностью. Я изъездил большие и маленькие города. В особенности маленькие любил я: Орвиетто, Перуджия, Ассизи, Ареццо, Сиена, Сан-Джеминиано, Парма, Пиаченца, Мантуя, Бергамо, Равенна, Римини, Фаенца, Фолиньо, Урбино... И сколько еще! И я не называл юга, и я не называл Сицилию... Каждый городок со своим собственным лицом, единственным, историей созданным, людьми не повторенным. И вместе с тем на всех общая печать: каменная давность, вековая нетронутость строгих очертаний, нерушимая повторность гражданских обрядов, торговых обычаев. И все это неизменное залито переменчивым колыханием то занятой, то праздной толпы. То шум и говор утреннего рынка: под красными, зелеными, синими зонтами яркие пятна моркови, апельсинов, тыквы, томатов, жаровни с хрустящими каштанами, грозди винограда, грохот таратаек, ржание мулов и ослов, ослепительное солнце, запах чеснока, жареного масла и цветов... То вечерняя праздность, праздничное слоняние, на площади военный оркестр, битком набитые кофейни, столики на тротуарах, на мостовой, беззаботность и молодость под сенью старых дворцов, под хмурым взглядом бронзовых всадников и мраморных львов, при живом плеске старого фонтана. И только над всей этой беззаботностью стародавний звон часов на ратуше, Palazzo Comunale, роняет свое напоминание о том, что и над этим часом крыло смерти, как было прежде, как будет всегда. И рядом с этой осужденной на смерть повседневностью непрестанное присутствие глубокого, богатого прошлого, которое тут же, около вас, сзади, впереди, вокруг вас живет, глядит неумирающим оком красоты... Да, Италия стала для меня духовной потребностью. Она сделалась второй родиной. Сейчас, может быть, она единственная.

Из всех городов Италии Флоренция осталась любимой. Даже когда не было времени пожить в ней, я пригадывал так, чтобы остановиться проездом хоть на несколько часов, приехать утром, выехать с последним вечерним поездом. О, прелесть этих остановок! С какой жадностью наполняешь эти часы, в особенности когда покидаешь Италию...

Оставляю вещи на вокзале, иду с вокзала пешком. Легко, весело идти в хорошую погоду по чистым, гладким плитам флорентийской мостовой. Огибаю старушку Санта Мария Новелла, церковь с фресками Гирландайо; иду по шумливой виа Черретани: шелкают извозчицы бичи. Заворачиваю вправо, в маленькую Рондинелли и ее продолжение, виа Торнабуони. Гостиная, не улица. Все, что нарядного, высыпало солнечным утром на прогулку, на закупки. Итальянки, англичанки, русские дамы. Неожиданные встречи, расспросы: откуда, надолго ли?... Остановки перед окнами магазинов. Вот маленький павильон фотографа Алинари, вот музыкальный магазин знаменитого миланского издателя Рикорди, вот ювелир Маркезини... Группы нарядных дам с той стороны улицы расходятся по сторонам, отягченные охапками гвоздик, мимоз, розанов, нарциссов и миндального цвета. Они накупили все это на ступенях дворца Строцци: во всю длину своего гранитного фасада хмурый дворец опоясан венком цветов и папоротника – вдоль его фундамента цветочный рынок. И в пахучей прохладе вкруг влажных цветов сливается тосканский говор крестьянок-продавиц и англосаксонская речь покупщиц. Они расходятся и с охапками своими останавливаются перед окнами фотографа Броджи. Тут вся Италия и в снимках и в книгах; какое развлечение читать одни заглавия прелестных английских книг в прелестных итальянских белых переплетах. И тут же рядом кондитерская Джакоза,



не менее замечательная, чем все прочее. Заходим: весело, вкусно. Большое окно зеркального стекла, как стена огромного аквариума, выходит прямо на палаццо Строцци. Гранитный фасад хмурит бровь своей тяжелой двери, и бронзово щетинится с угла торчащий знаменитый его фонарь... Расходимся кто куда...

Иду завтракать. Есть тут же, за углом, в переулке подвальчик. Там обедают извозчики, рабочие, погонщики, носильщики, но там вкуснее любого ресторана; на большой плите тут же при вас все готовится – и фритто мисто, и ньоки на пармезане. Вкусна народная кухня на оливковом масле; сковороды шипят, и дразнящий запах поднимается под своды, обклеенные плакатами кинематографов... Здесь однажды завтракал с художником, хорошо известным в Германии, – Саша Шнейдером. Сперва рисовавший уродов, чудищ, он впоследствии перешел к изображению идеального человека по греческому типу. Он нарисовал мне те человеческие фигурки, которые в моей книге «Отклики театра». Сам маленький, неказистый, немного горбатый, он жил в образах античной красоты, и беседа его была насквозь прожжена страданием перед уродством людским, тем самым уродством, которое он когда-то с такой преимущественной любовью изображал...

Позавтракав, выхожу на ту же Торнабуони. В обеденный жар улицы пусты и тихи. Вхожу в переулки и тенистой прохладой хмурых дворцов прохожу на площадь, на дивную Пиацца делла Синьория. Каменная гладкая стена Старинного дворца (палаццо Веккио) поднимает зубцы свои и выдвигает с края карниза свисающую, в синее небо устремляющуюся башню. Направо «Лоджиа деи Ланци» висит три арки свои; под этим портиком бронзовый зеленый Персей Бенвенуто Челлини и целое мраморное население воинов, героев, «Похищение сабинянки» работы Джованни да Болонья и чудная группа Гектора с двумя женщинами работы Фети, – ваятель девятнадцатого столетия, удостоившийся места в этом святилище; в мягких складках мрамор спадает как вялая материя... Налево фонтан с некрасивым мраморным Нептуном работы Амманато, сего неудачного соперника Микеланджело. По поводу этого Нептуна народ сложил двустишие:

Ammanato, o Ammanato,  
Quanto marmo tu hai guastato!  
(Амманато, о Амманато,  
сколько мрамору ты испортил!)

Как прелестен уличный юмор Италии! Никогда не унывает, никогда творчество его не прекращается. На фасаде Флорентийского собора, по обе стороны главной входной двери – две статуи обоих покровителей города: св. Репараты и св. Зиновия. Репарата держит в левой руке пальмовую ветвь, а правую вытянула ладонью кверху; лицо выражает скорбь. Зиновий держит в левой епископский посох, а правой благословляет, но не очень высоко, по-старчески, и рука ладонью вниз, и сам смотрит вниз. Когда было открытие фасада, кажется в 1885 году, то уже в тот же вечер по Флоренции ходил рассказ: св. Репарата говорит: «Я потеряла монету», – а св. Зиновий говорит: «Я ее не вижу...» Площадь, Пиацца делла Синьория, тиха и молчалива в этот полуденный час. На ступенях лежат в глубоком сне оборванцы-рабочие, и мрамор от прикосновения людских поколений стал гладкий, фарфоровый... Гордо, бдительно высится бронзовый конный Козимо Медичи над свалившимся у подножия его сонным человеком... Не площадь, а музей; музей, в котором торговли овощи продают, стоят извозчики...

Прохожу мимо Старого дворца, вхожу в музей Уффици. Поднимаюсь по высокой, высокой лестнице – мраморы со всех сторон. Прохожу залами картинной галереи. От Чимабуэ и Джотто до Караваджо и Карраччи, от робкой наивности тосканских примитивов до разнузданной роскоши болонских мастеров проходят величайшие века человеческого искусства. Все это знакомо, близко, сердцу мило; нет другой галереи в мире, где бы ощущалось такое «гостепри-

имство». И нежный Перуджино, и загадочный Боттичелли, и могучий Фра Бартоломмео, и небесный Фра Анджелико, и пышный Тициан, и светозарный Веронезе – все встречают вас как друга друга. ... Оставляю галерею и длинным, длинным коридором над домами, над мостом иду на ту сторону города. Из окон увидал под собой мутные воды Арно. Старый мост (Понте Веккио) между двух рядов своих лавчонок кишит сгущенной жизнью вливающихся в него улиц. ... Длинным, длинным коридором прохожу наконец на ту сторону; вхожу в музей дворца Питти. Здесь уже не та историчность, что в Уффици, не та последовательность развития; здесь самая густота шестнадцатого и семнадцатого столетий; царствуют Рафаэль, Андрэа дель Сарто, Фра Бартоломмео. ...

Выхожу из галереи, огибаю дворец, поднимаюсь в сад Боболи. Пахучая тишина стриженных лавровых стен. В темной зелени мраморные боги и богини, нежась на солнце сегодняшнего дня, грезят грезы прошлых дней. Львиные пасти выпускают водяные струи, порфиновые лохани их принимают, передают другим. ... Единственно движное в этой неподвижности, единственно звучное в этой беззвучности – вода. Из недр земных стремясь к солнечному свету, вода задерживается человеком, выходит наружу сквозь мраморную щель и, только исполнив человеком определенное ей назначение, стекает в лоно иных вод. ... Белый мрамор облеплен мхом и лишаями; в трещинах знойной поверхности скользят ящерицы; на вытянутую руку гладиатора опустился голубь. ... Прохожу мимо знаменитого фонтана с Нептуном; в его лохани скользят ленивые извивы золотых и голубых рыб, круглых, как большие карпы. ... Вот наконец и терраса, окаймленная сквозным рисунком каменных перил. Зной, простор. Опьяняющий дурман растительных дыханий – терпкий лавр и сладкая олеа фрагранс. ... И меж ковровых клумб, среди пятен огненных бегоний, с выпученными глазами – зеленой бронзы огромные лягушки. ...

Невыразима прелесть итальянского сада. Он вас переносит в нечто несуществующее, в мир линий и передвигающихся перспектив; он погружает вас в какую-то отрешенность. Оттого ли, что, попадая туда, мы чувствуем себя оторванными, но в итальянских садах есть что-то блаженно-усыпляющее. И при этом – напряжение жизненного самочувствия. Странно; это какое-то *non cogito, ergo sum, ne* мыслю, следовательно, существую.

Трудно передать впечатление итальянского сада тому, кто не видал, а в особенности нашему среднему русскому человеку он не понятен. Не понятен потому, что не отвечает потребностям его или отвечает таким потребностям, которые в нем спят. Ведь этот сад есть как бы дом, продолжающийся вне дома, это архитектура, распространяющаяся в природу. У нас же наоборот: у нас природа распространяется на архитектуру, природа входит в дом. Вспомните, как жили наши средние помещики. Разве была какая-нибудь забота о распространении благоустройства за пределы дощатого покосившегося балкона? Они жили в каком-то установившемся непротивлении природе: солнце их печет, мухи их едят, акатник и сирень прямо в окна лезут. Скажешь: «Да срубите хоть сколько-нибудь; ведь душно, давит; дайте сколько-нибудь простору». Нет, им «жалко». «Жалко чего? Деревьев? Да ведь они друг другу мешают, они уже расти не могут. Разве не лучше одно раскидистое дерево на зеленой лужайке, чем этот частый хворост и под ним черная земля?» Нет, не понимают. Они смотрят на дерево с точки зрения количества.

И еще одно невольно сейчас приходит мне на мысль. Как бедны мы красотой! Ведь всякая красота есть в известном смысле роскошь, роскошь не в смысле затраты и стоимости, а роскошь как известный преизбыток, *superflu*, в пространстве или во времени развивающийся. У нас в России бедность и в том и в другом. В особенности в смысле украшения пространства у нас скудно. Слышал, есть где-то в Смоленской губернии выселок, называется Пустые Вторники. Переселенцы пришли на указанное место и ничего там не нашли. Был вторник – это было время; место было пусто – таково было пространство. Время у нас в России лучше заполнено, нежели пространство: музыки, поэзии у нас больше, чем архитектуры, живописи и пр. Мало

у нас красоты, потому что мало преизбытка, и вряд ли когда будет, не к тому идет; а сейчас, когда все «на учете», какой же может быть преизбыток, какая красота?..

Я поднимался в коляске на Виале деи Колли извивами дороги все выше, выше. Все ниже опускалась и дальше расширялась у ног моих Флоренция... Мутный Арно с этой высоты серебристый. Город в какой-то золотой пыли; вокруг своего собора с огромным куполом Брунеллески он лежит, как вокруг пастыря покорное стадо. И, как страж, рядом с куполом высится мраморная джоттовская колокольня – как из слоновой кости, млечная, с черно-красными разводами; дивный кампаниле, про который Наполеон сказал, что его надо под стекло поставить... Теперь я доехал на самый верх... Дорога горизонтальная вдоль горы; надо мной только пестромраморный фасад церкви Сан-Миниато и старые стены крепости, воздвигнутой под наблюдением Микеланджело. Выехали и на площадь его имени – Пиаццале Микеланджело. Посредине стоит черно-бронзовый его Давид; широко вокруг него раскинулась площадка; по краю длинный рисунок сквозных перил и за ними – пропасть, воздух, золотая пыль... Вечерний колокол ударил в Сан-Миниато; ему отвечает другой; легкий серебристый перезвон разливается по тосканским холмам... А там, в низине, Арно серебрится длинной лентой, ластьясь к темным купам Кашин, городского парка. Город сгорает в огненной пыли. За городом, на противоположной цепи гор Фиезолевский монастырь поднимает свою колокольню и разворачивает опаленный полукруг своих домов...

– Куда прикажете? – спрашивает мой возница.

– Улица Альфиери, 7.

С моим приятелем Карло Плачи я знаком сорок лет. Но он неувядаем. Неувядаем его интерес к искусству, к науке, к открытиям, к будущему, к прошедшему; неувядаем его юмор, никогда не дремлющий и всегда неожиданный; неувядаема его способность жить, путешествовать, читать, видеть, знакомиться, знакомить, переписываться и неувядаемо сходство его профиля с профилем Савонаролы. Все он знает, все он видел, все он слышал: последнюю книгу, последнюю оперу, последнюю сплетню, одним словом, Плачи – это «последнее слово». Он знает всю Европу, вся Европа его знает. В любой город он приезжает – на другой же день у него расхвачаны обеды, завтраки, вечера. Но в несметном количестве его знакомств, при разнообразии отношений проходит одно общее: он несомненно отдает предпочтение «лаврам»; как поэт бряцал по лире, так рукой рассеянной Плачи треплет лавры. Он расплодил рощи вокруг себя, и лавры любят ютиться вокруг него. Музыканты, живописцы, писатели, какие только бывали во Флоренции, всегда в его доме. «Виа Альфиери, семь» – это какая-то узловая станция, где скрещиваются и встречаются люди, и во сне не видевшие, что они когда-нибудь встретятся. Здесь, за гостеприимным столом старушки матери, сколько раз я, только что приехавший из России, обедал с какой-нибудь писательницей-англичанкой, заехавшей по пути из Индии в Лондон, или с каким-нибудь французом, отъезжающим на раскопки в Сирию... Встречал я у них знаменитого историка Паскуале Виллари, романиста Фогаццарро, критика Ненчони, Матильду Серао, известного историка итальянской живописи Беренсона, писательницу мисс Паджет, пишущую под именем Вернон Ли. Там же встречал старика Сальвини. Все это было давно...

И в их же доме видал я так рано скончавшегося графа Петра Бутурлина. Родившийся в Италии от матери-испанки, он воспитывался за границей, по-русски знал плохо. Рано пробудился в нем дар стихотворства. Он писал по-английски, стяжал хорошую известность, но он не удовольствовался ею. Его потянуло в Россию. Здесь он невероятным усилием воли заставил себя овладеть русским языком и русским стихом. Он написал свою книгу сонетов – единственный его вклад в русскую поэзию; он умер вскоре после того. Прелестный стих, – в русской речи дышит Италия, и настоящая струна классической традиции звучит во всех его напевах.

Одна картинка врезалась мне в память – японская картинка. Молодая девушка, служащая при дворе, услана с поручением. Вдруг услышала в небе далекие крики. Она остановилась, подняла голову и, забыв все на свете,

«Забыв, что бонзы ждут, что ждет императрица», загляделась, недвижимая, на полет журавлей...

Он сам читал мне свои стихи, и как прелестно читал... Есть прелестное его английское стихотворение, очень популярное. Начинается словами:

We wandered far into the fields, my love and I.  
(Ушли мы далеко в поля, любовь моя и я.)

Потом говорится о том, что они набрали целый сноп цветов. Она несла его, но, прежде чем дошли до дому, все цветы в руках ее завяли:

This sad to think we caused sweet things to die  
By wandering far into the fields, my love and I.

(Как грустно думать, что сгубили мы нежные создания тем, что ушли далеко в поля, любовь моя и я.)

Бутурлины были оседлыми флорентийцами; у них был прекрасный дворец на Виа деи Серви. Во дворе, как во всех старых флорентийских дворцах, был красивый фонтан с большим бассейном. Однажды здесь играли двое малолетних детей одного из братьев Бутурлиных. Две няньки вязали чулки и тараторили, пока дети резвились и смеялись. Вдруг няньки заметили, что они уже давно детских голосов не слышат. Посмотрели – оба ребенка в бассейне утонули... На вдове графа Александра Бутурлина, брата нашего поэта, женился уже в престарелых годах брат Плачи – Дженнаро.

В их же доме встречал я и слушал покойного пианиста Буонамичи, ученика Бюлова. Что за восхитительный, тонкий художник и какой милый, всегда радостный человек, с каким искрящимся юмором...

Плачи умел вызывать шутку, как обладал исключительным даром будить мысль. С большой способностью к философскому мышлению, со склонностью к восприятию явлений с мистической стороны, он умел тут же брать жизнь и людей с такой шутливой легкостью, с таким паясничеством мысли, что мигом философия проваливалась и из обломков выскакивал, как чертушко, коварный каламбур. Эту особенность его характера одним словом обрисовал Ганс фон Бюлов, знаменитый пианист и дирижер, женатый на дочери Листа, которая от него ушла, чтобы выйти за Вагнера. Он прозвал его – «Парсифальстаф». Сколько остроумной прелести в этом слиянии. Последняя опера Вагнера – «Парсифаль», «Фальстаф» – последняя опера Верди. Какие полюсы музыки, какие полюсы настроений и какое в одном слове сочетание странностей этого странного характера. Говорю «странного», потому что странен всякий характер, который не осуществляет себя. По природе своей Плачи бы должен быть одним, а на самом деле, выходит, другой. Он должен быть глубок – он поверхностен; он очень умен – он часто говорит глупости; он имеет массу творческих задатков – он расплескался в маленьких критических статьях по искусству, в которых почти не проявил себя. Одно слово: «Парсифальстаф». Может быть, то самое, что составляет его прелесть для других, то было пагубой для него самого, и что делал Плачи – Парсифаль, то разделявал Плачи – Фальстаф... В одной черте его еще сказывалась слабость творческой силы: он любил выкачивать сведения из человека, он был в своем роде, и в значительной степени, интервьюер. Мне всегда казалось, что настоящее обогащение человека совершается путем наблюдения, а наблюдательность молчалива; слово, зреющее в молчании размышления, тяжеловеснее того, которое родится от звонкого столкновения вопросов и ответов. Там творчество, здесь в некотором роде реквизиция... Многим я

обязан и ему и его дому. Много тонкой критики, ценных указаний, не говоря о блестящих ума, сжатых определениях, восхитительной смелости эпитетов.

Не могу вспоминать Флоренцию и не вспомнить этот дом. Родители Плачи были мексиканцы; они приехали во Флоренцию на два месяца и остались на всю жизнь. Отца я не знал, но мать умерла всего лет десять тому назад. В течение тридцати лет я знал ее всегда старушкой. Она почти не разговаривала, она только слушала и наслаждалась шумящею вокруг нее молодой жизнью. Без слов она была приветлива; когда бы вы ни виделись в последний раз – вчера или три года тому назад, откуда бы вы ни являлись в ее дом – из соседнего квартала или из Тибета, она, протягивая вам руку, неизменно говорила: «Comment vous portez-vous?» («Как вы поживаете?») И каждый раз я думал: *non multa, sed multum*. (Не многое, но много.) Мало приветов я в жизни ценил, как этот... После обеда она садилась в свое тридцать лет на том же месте стоявшее кресло и раскладывала пасьянс; ей сопутствовала в этом деле верная старушка мисс Гибсон, воспитательница ее детей. Пока Карло, брат Дженнаро, сестра Аделаида, верный товарищ друзьям своих братьев, занимали гостей, старушка мать за пасьянсом радоваласьговору, смеху, пению и игре.

Она любила друзей своего сына, и запах лавра улаждал ее; но одному она поставила запрет; она сказала сыну: «Кого хочешь, всем рада, но Д'Аннунцио не могу принять». Этот сердцеед, губитель стольких женских жизней, не находил пощады в этическом кодексе старушки. «Ну только один раз, дозвожь мне только один раз пригласить его». Старушка согласилась. И такова обворожающая сила этого удивительного писателя в пошлейшей человеческой оболочке, что о запрещении уже не было речи.

Такой атмосферой обдавало меня, когда заходил к ним даже между двух поездов. Это было особенно, непохоже... Помню, однажды мы с моим приятелем говорили об этой особенности и непохожести их дома. «Тебе бы следовало когда-нибудь описать наш дом», – сказал он. И вот через двадцать лет пришлось мне исполнить его поручение...

Хочу здесь отметить одно мимоходное впечатление, испытанное прошлой зимой, то есть зимой 1920 года, в Москве. Я был в одной из школ, где преподавал выразительное чтение и мимику, когда явилась делегация итальянских социалистов, пребывавшая в стенах советской столицы в целях изучения условий жизни советского рая. Что такое условия, в которых протекают уроки в наших советских заведениях, это знают только те, кто в них учил и учился, вернее сказать: пытался учить и пытался учиться. Завернутые в шубы, мы сидели, смотрели на урок ритмики по системе Далькроза. В числе делегатов был некто Каффи, сын бывшего костюмера императорских театров, воспитывавшийся в России и потому хорошо имевший возможность сравнить то, что он видел, с тем, что он помнил... Но не к этому веду речь сейчас. Я объяснял ему смысл проходивших перед ним упражнений, когда он вдруг сказал: «Я знаю, я читал, у нас об этом писал некто Карло Плачи». После всего написанного в предшествующих строках вы легко поймете впечатление, произведенное на меня этим именем в эту минуту. Среди безотрадной пошлости, среди оскорбительной жестокости всего того, что нас здесь окружает, среди удручающих потемок, при полной оторванности от внешнего мира и мирового движения – это имя в устах приезжего итальянца было для меня зеленой ветвью в клюве голубя, прилетевшего в ковчег: значит, там есть еще жизнь, там продолжается. И Италия есть, и Флоренция продолжается. Увижу ли?... Когда?..

## Глава 2

От Испании до Флоренции – Портреты ушедших людей

Какая минута жизни сравнима с той остановкой, которую дарит судьба на перегибе между гимназией и университетом? Переход из отрочества в мужество... Я использовал время от конца мая до начала сентября 1881 года в путешествии. Страсть к путешествию во мне уже тогда сидела и осталась навсегда.

С отцом моим мы поехали в Париж. Тут мои первые впечатления от французского театра. Многое из того, что я описывал в первой части этой книги, я видел именно тогда. До сих пор удивляюсь четкости своих впечатлений и длительности, с какой, вонзившись в меня, они в памяти живут. Очень может быть, оттого так и сильны они, что это было еще

В те дни, когда мне были новы  
Все впечатленья бытия...

Из Парижа я поехал в Испанию. В Мадриде ходил каждый день в музей Прадо, самый мне близкий из всех музеев после флорентийских. Там я узнал Веласкеса, его глубокие горизонты и его глубокие, издаലെка смотрящие глаза. Можно ли забыть пронзительные взгляды этих людей, сидящих вокруг, среди скалистой природы, и этого оголенного юноши, которого венчают виноградным венком, и того, который держит в руках чашу виноградного сока? Чей взор, хоть раз встретившийся с этими взорами, может избежать их хищного, ядовитого преследования? И тут же, в том же музее, того же Веласкеса – распятие. Никакого взора – опущенная голова, и лицо наполовину завешано выбившимися из-под тернового венца волосами. Это распятие совсем отлично от всех других. В нем никакого внешнего порыва вверх, оно не взывает к небу; все склоняется: голова склоняется, пальцы отвисают и склоняются, измученные, к ладоням; уста смежились, и только свет теплится вокруг склоненной головы. Ко всем распятиям приложима подпись: «Веую мя оставил еси», под распятием Веласкеса: «Свершилось»... В Севилье я узнал Мурильо, которого до того слишком мало ценил; узнал реализм его нищих, а в больших фресках монастыря узнал его совсем неожиданный размах большого композитора... Севилью помню плохо, мало был. Помню узкие улицы, прохладные, с колоннами и фонтанами дворы, балконы, решетки, мантильи, гитары и пресыщающий запах жасмина... Кадикс – на высокой скале белый город, окаймленный морской синевой. Помню нашего консула, благообразного старика барона Фелейзена с женой. Вечером ходили на городскую прогулку, на высокую Аламейду, куда высыпали в мантильях красавицы: помню одну, которую старик называл «светило дня»... Самое удивительное из того, что я видел в Испании, это Гранада. На фоне снежной Сьерра-Невады – в лаврах и апельсинах утопающий город. Смешенье мавританского мраморного кружева и мавританских изразцов с тяжелым испанским ренессансом. Сказочная Альгамбра, угрюмые остатки дворца Карла V, игрушечный дворец Хенералифе, олеандры, кипарисы и журчание воды: всюду вода – наследие мавританского владычества. Я проехал Испанию слишком быстро, и было это сорок лет тому назад...

Видел я еще Эскуриал; «в пустыне чахлой и скупой» – каменный Эскуриал, монастырь, где хоронят испанских королей. Когда похоронное шествие подходит к воротам монастыря, ворота закрыты. Маршал стучится в ворота. Голос изнутри:

– Кто там?

– Тот, кто был король Испании.

Ворота открываются, выходят монахи, принимают фоб, вносят – ворота затворяются. Похоронное шествие расходится... Видел я угрюмое Толедо над крутым берегом мутного Таго, с его мрачным не то дворцом, не то темницей Альказаром и с мрачным собором, из кото-

рого неожиданный выход в очаровательный дворик с кружевными готическими арками. Здесь висят железные цепи, в которых томились испанские пленники в Гранаде до падения мавританского владычества. Фердинанд и Изабелла после взятия Гранады привезли их сюда, повесили тяжелые цепи в этом дворике; теперь их оплетает зеленый виноград. Как хорошо помню этот зеленый виноград вокруг готических арок: против света непроницаемый рисунок каменной резьбы и вокруг него пронизанная светом зелень виноградных листьев... Испания – суровая страна. Чтобы увидеть немного больше, чем то, что видишь из окна вагона, я совершил длинную поездку в дилижансе от Гранады до станции Мен-хибар, двенадцать часов. Высоко на козлах, выше кучера. Нелегко это было, тряско, очень утомительно. Но мулы, бубенцы, остановки в харчевнях, перепряжка лошадей и перебранка погонщиков, ослепительная луна и фантастические очертания скал с ерошащимися на них агавами – все было необычно ново и осталось в памяти как что-то единственное, неповторимое, сказочное, но суровое. Природа испанская – неприветливая, но испанцы ее засыпали цветами, забрызгали фонтанами, залили гитарным звоном и стуком кастаньет...

Тогда же я видел в первый раз бой быков.  
 Ликует буйный Рим. Торжественно гремит  
 Рукоплесканьями широкая арена.

Только не Рим, а Мадрид. Каждое воскресенье в пять часов огромный цирк наполняется нетерпеливой толпой. Вокруг цирка говор, крики, суета. Повозки, мулы, бубенцы, шарфы, веера, зонтики, мантильи, лимоны, апельсины, вода, мороженое, фрукты, сигареты, конфеты. Все это кричит, кто требует, кто предлагает, и надо всем развеваются флаги, испанские цвета – желтый с красным. Вхожу, пробираюсь на место, тороплюсь – заразительно общее нетерпение. Сажусь. Страшно перед неведомым кровавым зрелищем; но смотрю: вправо от меня сидит девушка лет семнадцати, очаровательная испанка; из-под черной кружевной мантильки льнут к вискам напояженные крючочки волос, то, что французы называют сердцеловами, – на матовой коже лица глянцевитые черные вопросительные знаки; мантилька приколотая к волосам и к груди двуцветными кокардами из желтых и красных цветов. Она тоже ждет кровавого зрелища, но на лице ее ни тени беспокойства; и я подавляю свое волнение. Я сижу «a la sombra», в тенистой стороне огромного цирка; это считается лучшими местами. Понятно, здесь прохладно и не надо жмуриться, да и видна вдобавок другая, солнечная сторона: она вся мигает, как цветными крыльями, трепещет веерами... Разражается духовой оркестр. Выходит на арену блестящее шествие – конные, пешие; развеваются красные плащи, блестит на солнце золотое шитье испанских костюмов. Размещаются в разных местах арены. Отворяются большие тяжелые ворота, на арену выскакивает бык – огромный, каких мы не видали. Как раз он выскакивает. Один выскочит и, гордый, останавливается, озирает толпу; тогда приходится дразнить его, чтобы завязать борьбу. Другой выскочит и как стрела стремглав кидается на лошадь – вмиг и конь и всадник подняты на воздух и с грохотом падают на землю; но всадник успел вонзить ему свою пику, и бык устремляется на другую лошадь.

Вся арена тогда в движении; пешие подсакивают к нему, дразнят красными плащами, отвлекают его внимание. Бык вдруг наметит стоящего у высокого барьера человека, бросается на него, но тот привскакивает на ступеньку и с акробатской ловкостью перебрасывается через барьер – бык останавливается перед пустым местом. В ярости он бьет копытом, роет песок. Он утомился. Тогда приносят маленькие пики, обмотанные цветными ленточками. Человек перед быком стоит, привскакивает, приплясывает, и когда бык на него кидается, он сверху втыкает ему две пики в шею и отскакивает. Жестоко, но жестокость прикрыта такой нарядностью, такой молодцеватостью, что нельзя не любоваться. С какой легкостью эти люди в бархатных, золотом шитых костюмах, в чулках и башмаках играют со смертью... Когда у быка по обе стороны шеи

целая бахрома маленьких пик с лентами, тогда выступает тореадор – самый нарядный из всех; в одной руке длинное лезвие, в другой – маленький кусок красной материи. Наступает минута единоборства; весь цирк замер, десять тысяч человек притаили дыхание... Человек и бык стоят друг против друга; бык наконец кидается на красную тряпицу, которую человек подставляет ему левою рукой, а правая в это время, проходя между рогами, вонзает ему длинное лезвие вдоль спинного хребта. Бык падает. Рев, гвалт, рукоплескания. Оркестр играет. На арену летят цветы, апельсины, сигары, дамские платки... Выезжают с бубенцами и кисточками мулы, по три в ряд; за ними на веревках крюки; подбирают трупы лошадей и быка. В три минуты нет следа минувших ужасов. Все смиреет; все ждет. Открывают ворота – выскакивает новый бык...

Из Испании я заехал в Баньер де Бигор на французском склоне Пиренеев навестить отца, который там лечился водами. Что за прелесть северный склон Пиренейских гор! И как не похожи оба склона, французский и испанский. Южный склон выжжен, пустынен, желто-бурый; селенья редки, влаги мало, потоки пересохла – дикий, суровый край с разбойничьими преданиями. А северный, французский склон! Зеленый, влажный, плодородный. Города и селенья ютятся в расселинах, вползают на скалы, спускаются в долины. Пиренейские долины! Что за картины благоденствия! Они как будто говорят человеку: «Зачем ты несчастлив? Все мы тебе даем». Далеко они расстилаются, как ковер зеленый, по которому широкая река величаво провожает белые разводы своей успокоившейся пены. И стоят вдоль берега, как застывшая процессия, длинные, тонкие тополя, крепко вросшие и трепетно стерегущие спокойный бег глубокой воды. Заселенные долины, в радости обработанные, необманно расцветающие, развертываются, теряются в бледнеющей дали...

А в горах сколько прелести, какое разнообразие. Никогда вы не на одной высоте; то недоступная перед вами вышина, то недостижимые низины. Дорога вьется петлей, огибает скалистые громады, свисает карнизом, сбегает в мрачные, сырые щели, выкатывается в зеленый простор; мосты висят над безднами, а то так спускаются к воде, что их обдаёт сыростью и шумом. О, прелесть пиренейской воды! Всюду она журчит, отовсюду вас окликает; то пенистое пыльное паденье водопада, то ровное течение меж сочных берегов, то со дна котловины смотрит на вас жидкого аквамарина глаз с поволокой белой пены, окаймленный ресницами папоротника и шиповника...

Мы с отцом объехали много пиренейских городов. Подымались на вершины, спускались в долины. Перевалили через Col du Tourmalet, видели городок St. Jean de Luz, повисший над пропастью, оберегаемый белой своей колокольней; к нему, к этому городку, ведет над пропастью мост, один над бездной перекинутый свод; над смычкой свода – распластаный каменный орел: мост построен Наполеоном III... Видели, как развернулся перед нами цирк Гаварни – амфитеатр скал, в верхнем крае которого зубрина на небе вырисовывает светлую выемку: это, по преданию, Роланд Ронсевальский, перескакивая через Пиренеи, задел копытом своего коня... Видели грот Лурдской Богоматери с никогда не гаснущим в нем светом длинных восковых свечей, с тысячными толпами молящихся и со сводами, увешанными бесчисленными костылями – подношениями за дарованные исцеления... Заходили на знаменитую шоколадную фабрику в городе Тарб... И подолгу гуляли на террасе перед дворцом города По. Что за город! Столица старого королевства Наваррского. Опасный юмор рассказов королевы Маргариты... И что за вид! Сзади снежные вершины, а впереди внизу – цветущие долины. Далеко, далеко расстилаются они, так далеко, что не видать движения: даль недвижна, даль безмолвна – отсюда спокойствие высот. Только иногда далекий свисток, и тогда ищешь глазами и увидишь в зелени растрепанную ветром бело-дымчатую гриву; но с этой высоты, в такой дали и поезд кажется, что не быстро бежит... Один из этих поездов умчал меня в Италию...



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.